

Литература

КАЖДЫЙ ДЕНЬ недели, в который полагается быть чистым, происходит наша встреча, по счастью, немного ранним утром, когда мы почти только из душа.

Отныне я нарекаю его дватым Гумбертом наизнанку за то, что ходит неперебежками без куртки и курит, курит, и думать об ученых девицах, наверное, не думает, судя по траектории морщин. Приходит и сидит передо мной в неразлично-синем свитере каждую неделю, из чего становится понятно, что у него есть жена, которая стирает ему его каждый день или через день уж точно.

Говорит он, недвижимо хихикая над нами и над собой, потому что имя той стирающей женщины вспомнить не может, имен, женщин, с недавнего времени вообще не запоминает, его увлекает в девчужках только отношение их к революции да служивые, смешно вразвалочку бегущие по центральной улице города, а девушкам только это и есть самый костер — вековые угли, умом пахнет, горьким шоколадом искушенности, все уже, давно это было. У него голос как моток шерсти, как антиквариатный маятник, речь как еретическая проповедь, от него страшное слышать сладко.

Родился он тогда, когда были модными платья венчиком и купальники-трико, сантехничал и пил, пока не понял себя поэтом, и укатил в Столичную, когда стакан встал поперек грозящих кардиологий или, может, на грустный юбилей принесли застоялого коньяка с запахом древесных клопов. Под номером, под лампой в абажуре, под крестом, мужчина этот старел и писал про увяданье цветов, немного неуклюжим полукруглым па обходя свое собственное, далее неясным подчерком, отключили электричество, родились-перестроились новые девушки, мы встретились среди пыльных одуванчиков и гравия.

Его поклонницы, клонящиеся к фатальной для женщин зрелости, в нелепых коричневых сапогах, усаживают свои треугольные, черные и синие груди на парту, наслезивают глаза и всасывают каждое атласное слово, мрачное и модерновое, вздыхают так смешно, словно считать умеют только до двух. Смешные, тут все кольцами завалено, ему не нужно.

Что же еще нужно осенними обеднями, перед разменом своего давно и со смыслом пропитого, самого главного полтинника, кроме того, что тебя тайком ненавидят облысевшие анакредонтики за то, что свежие и пульсирующие как почки сирени девушки, героини их строчек, цедят березовый сок из головы от интеллигент-

ских темностей этих енисейских трубачей. В конце концов — сиропное вино, что выжимает из церковных колоколов, конечно, полночь.

«Мужчинам не дарят цветы» — стучит зубами розовая шерстяная женщина в цветочном киоске. «Если к дате не приурочено». Ну и к черту — не приурочено! я не знаю его даже при близких датах, мне это не присвоено, его дни мною не приурочены и никогда. Не приурочено — тогда пусть он дает мне уроки, а я буду шифром стенографировать каждый, глупо барабаня указательным пальцем по клавиатуре, пока не разучусь, мне стыдно болеть Лолитой, мне нужно учить настоящие уроки.

Не дарят цветы и черту — я буду прилежно писать каждую встречу до неприличной одури, пока не стану взрослой и это не станет грустно-смешным, пока не перестану летоисчисляться по одному дню в неделе — это грязный, влажный четверг, буду, пока он не сгорит медленно, медленно, а такие рукописи горят и безо всякого огонька.

Звонок

НЕ СЪЕЛА ДАЖЕ и крошки в обед, не в пример спиртовничанью. Все тужилась-пыжилась вспомнить, что говорила вам пару минут назад, — тщетно, щелочью разъело. Отвлекал или ваш синий шарф, грозивший перейти в черный, если я заикнусь, и сочувственно оттенять фиолетовым, если все же договорю слово до конца. Тряслась щека. Или отвлекало головокружение — тем не менее, когда слонов в посудной лавке больше, чем посуды, никого не разжалобишь разбитым блюдечком. Даже лазуревым.

Главное правило сафари в нашей посудной лавке — не присваивай себе чужого и не горемыкай над чужим и присвоенным, дабы не растерять себя самого на запчасти по дороге в свой холодный чертог. Повторить. Выучить. Выбить на лбу. Запихнуть в рот и тщательно прожевать, не запивая.

Слишком много слов, слонов, слишком плотно боками друг к другу, аж стирается серая кожа — ох, теперь нас всем видать, наши благородные кости. Все. Выходи за забор, выбирай охотника по вкусу.

Теперь отчасти вспоминается — были слова «хороший писатель». Хороший писатель — это как крепкий чай с домашними плюшками, если бы мы не умели говорить, мы, кстати, уже тренируемся. Если были слова, была и тема? Фи, прошлый век, в прошлом же веке и опровергнуто теми, кто Фрагмент — Богом провозгласил.

А впрочем, что это я снова о вас, — мало ли еще на свете, в темноте и собственных квартирах, покойных дедушек, пропавших пап и стражающих юнцов. Да и меня — не одна.

Потворить. Повторить. Выучить.

Первый урок — Эстетика

И ВОТ, КАЗАЛОСЬ БЫ, теперь они оба от меня слишком чужо далеки. Она — молодая, рыжая-стриженная, не по молодости женская. Я с ней почти не разговариваю.

Он — впереди нее лет на двадцать шесть, лысеет, синееет. Коричневееет, грустит. По возрасту. Я с ним почти не разговариваю.

Я с ними почти не разговариваю. Я их совсем не знаю. Именно поэтому мне так приятно думать о них перед сном, чтобы заснуть, когда пухляк оказывается душист и пуст.

Она, может, делает так же. И я не злось, не ревную, мне даже приятно, если она мечтает стать его любовницей. Мне даже забавно представлять их вместе. Я улыбаюсь иногда от этого прямо в метро. Вот он — такой шерстяной, большой, мудрый, хмурый. Немного хромает, курит на ходу. И вот рядом она — весной — гитара, летом — скрипка, зимой — контрабас. Глупенькая как раз точь-точь, чтобы казаться достаточно соблазнительной для таких мужчин, уставших от ума — женского, мужского, межпланетного и бесполового.

Но на самом деле я все время смотрю на нее, улыбаюсь про себя и думаю, что она так похожа на него, что с легкостью могла бы стать его дочерью. Я люблю думать о них в любых комбинациях, чтобы не терять знаки красоты и не тонуть между слишком черным и слишком белым.

Второй урок — Мифология

СЕСТРА, ВЕЧЕР снова догнал тебя, и за это я тебя ненавижу. Неприлично в твоём возрасте пускать чудищ в свою постель. Этот семиглавый змей — его видит каждый, так что брось плакать. Просто кто-то зажмуривает левый глаз и видит, что змей не пожирает солнце, а всего лишь пускает его внутрь остыть, чтобы оно не сгорело слишком быстро. А ты, сестра, черным-черно смотришь в оба и говоришь — «Не надо мне слабой слабого солнца в придачу». И змей высиживает тебя вместе с родными своими яйцами. Так ты становишься дочерью, которая ненавидит отца.

Ты думала, что подобное лечат подобным, что лишь брат может убить брата, хотя в пос-

ледный раз это закончилось злой растяжкой на тысячи лет и миллионы томов. Но так мечта о том, что ты, сестра, просыпаешься, наконец, одна, открываешь широко желтый рот и получаешь целый половник солнца. И вот душишь семиглавого змея змеем зеленым, а он, набравшись, путает все, поворачивается не в ту сторону и хватается за твою шею. Нелепая сказка.

Впрочем, для сказки это слишком кругло — все повторяется раз за разом — змей теряет голову за головой с каждым пробуждением, и ты мелко трясешься внутри, ликуя, когда к воскресенью у него остается лишь одна. «Вот я его сейчас!» — безмолвно ярствуешь ты. Всю ночь ждешь рассвета, чтобы отрубить последнюю голову верно, но как только выносят солнце, остальные шесть вырастают снова. Скудная сказка.

Тут-то и должен появиться какой-нибудь рыцарь, чтобы срубить все головы сразу, и он появляется, но только раз в неделю и всего на пару часов, потому что работает рыцарем лишь по редкому совместительству и старой памяти. В свое время от наспал таких же сестер на целую пятерню, отрубил десятки голов, но и породил взамен каждой сестрице по такому же орущему желторту, который теперь нужно кормить мороженым и бумагой. Этого не купишь на зарплату рыцаря, так что — только по совместительству, только по расписанию, по предварительной записи и с сохранением профессионального нейтралитета. Можешь рассчитывать только на одну, четвертую, голову, но вот оказывается, что раз так, то не надо рубить, ты ее любишь. Раз так мало. Так мало остается от него. Ну раз так, полурыцарь пожимает плечами и, не оглядываясь, уезжает на железном коне. Зелень. Или царевна-лягушка, которая ночью превращается в красавицу. Отведенное на порубь время ты, сестра, сидишь на деревянных брусках, интеллигентно стиснув зубы, чтобы не заплакать от заноз, которые впиваются в бедра, потому что ветхий рыцарь не верит слезам. В твоём-то возрасте.

А вот бы он сложил и отпустил в небо какой-нибудь большой цикл о даме, у которой из-под шапки змеи торчат, но, кроме нее самой, от этого никто не каменеет. Или хотя бы бумажный самолетик с твоим именем. Я знаю, ты, сестра, считаешь себя недостаточной для этого, если только не вклеить в лирический пейзаж слоно-вые деревья, водянисто-красную полосу над губой, у ноздрей, горячий лоб, холодные стены, соль на щеках и грязь под ресницами. Дешевое шапито — бессонница. В твои-то годы.

Сестра! Ты права, но — все оплаченное время он смотрит со стороны по разным сторонам, нам осталось семь. Семь встреч, семь целых голов. Я, может, буду скучать без меры. Не знать дна. Вино-виноватая продукция. Бесполезно — он пахнет железом. Бесполезная сказка.

Третий урок — Фонетика

НА ДВАДЦАТЬ РУБЛЕЙ можно доехать до дома и свернуться венезелем в синтепоновой берлоге, отпустив рукава до самых колен. За двадцать минут можно выпить и устать от своего монозвучания. За двадцать лет можно постареть на шестьдесят и понять, что кризис двадцатилетия, в отличие от всех остальных, нужно скрывать, чтобы не казаться тем самым красным домино. К двадцати годам можно стать уже не красным, а пунцовым от стыда за смех весеннего солнца над тем, что ты пыталась обмануть физиологию, генетику и прочие двусложности. И не получилось.

И вот что получается — через сны околоэротического содержания ты приходишь к девяностопроцентной глухоте и даже в кладези мудрости ищешь точку джи. А вот что выходит, цедится или хлещет, в зависимости от того, напилась ли ты за день до или после, — слышишь только одно его слово, имитирую звучание верно, чтобы повторить фонетику — «Нии-вазможно». Пусть потеря слуха не стала вырванной страницей про вычитание, пусть ты стала взамен тысячеглазой; если при этом согласишься не через глаза, а только в, вся твоя надрывная зрячьсть уходит в оставшиеся десять процентов слуха; твои, наконец, попытки высосать мысли через глаза на расстоянии двух метров похожи на попытки высосать раковое мясо через соломенную трубочку — «ниивазможно». Учись, дура, слушай, хватит пялиться.

Я давно нашла себе новую погремушку, которой жонглируют Бог и тот, кто напротив — Черт и тот, кто напротив, а в руки тебе не дают — главное правило вожденности игрушек. И извините, ею стали Вы, мне кинули Вас, а я подхватила. Вы стали серым. Признаться, темно-синий придавал нам большей солидарности. Но надо мной смеются.

«Нии.. — так вибрирует кусок железа, упавший на асфальт. Взгляд вперед, сквозь, вникуда, интонация вверх.

ваз — Вас, целый воз Вас, под которым я обожаю сгинаться, волочиться и обдирать колени — когда-то мне говорили, что, чтобы тебя подняли надо больно упасть.

моо — так Ваши губы становятся соленой трубочкой, а по моим льется молоко, соси его, интонация вниз.

ж — так жужжат костяшки моих пальцев, когда лопаюсь после полудня. Льется молоко — подлижи его с асфальта, так я мечтаю то, за что потом станавлюсь пунцовой.

но» — конец звука, начало зноя, я предрекаю мороку, а вы как хотите.

Но — почему Вы не мой папа? Па-па. Па-де-де по пузырям паркета, ему 75, мне 80, вам — немногим меньше, по старшинству приглашаем Вас на танец мы, я и паркет. Втроем мы больше точно не встретимся — ну хватайте же меня, я перевязала живот резиной, чтобы это было похоже на финальную романтику, давайте, ведите меня, высасывайте молоко. Я вижу, Вы — хромой, но это совершенно неважно, посмотрите на меня — у меня вовсе нет костей, шею сводит назад, я сюда — приползла, присыпалась, скисшим зернистым творогом.

Но я слышу? Что же — «ниивазможно?». Сегодня молоко хлещет.

Четвертый урок — Теория стиха и прозы

ВСЕГДА ГОТОВА учиться, когда Вам есть, чему меня научить. Но вы лишь спрашиваете, делая вид, что живете методом исключения, теорией выпада:

— Какое у нас сегодня число?

У нас сегодня и всегда нулевая параллель.

— Семнадцатое.

Пришлось соврать.

— Надо же, я угадал. А сколько нам занятий осталось?

— Мало.

Мало, дурак, мало, совсем ничего не осталось, сколько ни занимайся, и ничего из этого не вышло, а из этого ничего не вытекает, из кармана только пара крошек высыпается, одна снится вам, вторая — мне.

Первая — когда я собиралась действительно учиться грамматике, а не быть двоечницей по грамматике любви, когда туго стягивала волосы в хвост и лоб занимал больше половины лица. Но я не думала о красоте, я была почти немного счастливая. У меня и моих интеллигентных друзей была традиция — праздновать Ваши появления, и после очередного праздника я прибежала стянутая, с голыми плечами и за сорок минут рассказала все об умершем мужчине, который тоже писал. С тех пор Вы решили, что я постоянно должна что-то говорить об умерших

и не очень, говорили, что мои слова Вам снились. А когда я через два года случайно угадала, что стихотворение о мертвых на самом деле о живых, которые, удивительное дело, лучше мертвых, Вы сказали, что права я, назвав меня чужим именем. Потом долго извинялись, лежа лицом в бумагах, затем хромая ко мне, говоря, что меня ни с кем не спутаешь. Разве что с ничем.

И когда я внезапно поглупела оттого, что Вы стали ездить по моей голове, как игрушечный поезд — по кругу, Вы снова угадали мои сокрушения, как и сегодняшнее число, — сказали, что никакая литература не обходится без эротизма. Когда поэт пишет в ритм своей эпохи и не умирает вместе с ней, а продолжает писать, живительный воздух времени начинает вдруг гнить — так учили Вы.

Вот и сегодня воздух был до полудня жив и свеж, я ледянила высунутое в форточку лицо и душилась из синего флакона, готовилась к Вашему железному запаху. Но Вы.. Нет, уже не Вы, и даже не Вы, если я хочу ненадолго поненавидеть тебя, чтобы подышать свободно. Но ты пришел совершенно другим — от тебя пахло женщиной, большой женщиной, потому что глаза твои окосели от улыбки, совершенно не свойственной твоему возрасту, глаза, потеряв остроту хмурости, стали серомутными, как черная икра, ты стал реагировать отстраненным смешком даже на бездарные шутки, стал интересоваться живыми людьми и манерно жмурить глаза, слушая чужие стихи. Из твоих новых манер ничего не вышло — так жмурятся, только встав с кровати, в растянутой желтизной белой майке, со смешными худыми и бледными ногами, глупо торчащими из просторных трусов. Жмурятся довольно, по-котовски, шлепают босыми пятками на кухню по запаху свежих пирожков, пропускающая ванну, бритву, зубную пасту. Ведь там — большая женщина, твоя, белокурая, без пьяных истерик и молодости с духом. Большая женщина подарила тебе дорогую зажигалку под серебром — она так по-идиотски смотрится рядом с сигаретами за двадцать рублей. Твоя зажигалка. Твоя женщина. И пахнет.

Так ты становишься тем самым поэтом — мой, наш, живительный воздух от чужого запаха скисает, кучнится и гниет. Так начинается моя астма — ты виноват, я буду немного ненавидеть тебя — виновата я. Зажимаю нос рукой, смотрю на упавшую скрепку на пестром паласе, до зеленых пятен пялюсь в люстру. Эта скрепка такая же, как я — все время должна прилепиться к чему-то важному, чтобы жить дальше, а потом скрутиться в железную закорюку и молча лежать на пыльном полу. Так незаметно становится без ничего пять, мы расходимся.

Ты не должен ее трогать, ты вообще не должен больше ни до кого дотрагиваться, должен просто стоять на верхней ступеньке, скрестив руки за спиной. Я не хочу знакомства выше и ближе. Я бы никогда не сунула свою руку в большие складки твоих морщинистых и табачных. Мы выше. Упираемся в грудные клетки друг друга длинной деревянной указкой, чтобы быть на расстоянии, а в зубах держим мел, чтобы не сболтнуть чего лишнего. Мы шире — к черту любовь плечом к плечу, о ней плохо вспоминаешь уже через пару лет. А мы выше друг друга, чтобы друг друга не видеть.

Я вообще не хочу знать и не должна знать, куда ты уходишь, как живешь — где переживаешь. Кто она, твоя настоящая женщина, насколько уже увяла ее красота, что любовь расцвела новым цветом. Не хочу знать, какой пастой чистишь зубы и любишь ли жирные котлеты — в конце концов, самая глупая лирика лишена таких подробностей, а я жму, жру только ее всходы. Я литература, не старайся меня научить. Давай просто так посидим. Хотя я даже рада, что она, твоя женщина, у тебя есть. От нее ты стал улыбаться, а я стала видеть, что ты вовсе не весь железный и сияющий — когда улыбаешься, я обхожу твою улыбку, в ней зубы уже истерлись, разошлись и постарели — боже, неужели я впервые научилась прозе. Все же ты хороший учитель.

Ты хороший. А плохой ученик вечно идет, плетется за своим учителем. Хороший — смотрит на него скособочась первые пару уроков, а потом дрожем встает на свои молочные ножки, отворачивается и идет спиной, сам.

Я плохая ученица. Двадцатигодница. Я пытаюсь выслеживать тебя на нашей территории на сбившихся каблуках. Где не спрятаться и не спрятать тебя под стеклом, закопать у дерева, как фантик. Я неуспевающая по беспредметности — ставь мне очередную пару, мне не страшно, осталась как раз пара занятий, а потом, даже летом, будет пытаться начать моя весна. Буду жечь старую траву, а вместе с ней вроде бы как нечаянно сгорит все это и ты вместе с ним. Потому что ты всего лишь жизненная необходимость подогреть застоялую кровь. Не жизнь. Хорошо ты научил меня литературно уменьшать ложь до неправды, да?

Пятый урок — Литературоведение

ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК — чем больше хочешь сказать, тем громче молчишь, может, потому, что у меня тобой рот набит? Я спрашиваю после урока:

— Не посоветуете мне тему для доклада?

А получается:

— Что вам нужно?

Ну что тебе вообще нужно? Пирожки, эта женщина, бензин, кафедра, новые писатели?

И продолжаю:

— А в какой форме должно быть написано?

Дальше вроде что-то говорю, но на самом деле снова вязну в своем липком и сладком. Бреде.

Ты отвечаешь:

— Это должен быть полноценный литературоведческий анализ. Понимаете, это научная работа, а не творческая.

Я сделаю анализ. Разберу тебя на части, раскину по местности, соберу снова, выхолощу по молекулам; разберу так, чтобы ты рассыпался и наконец от меня исчез со всей своей литературой и моими большими праздниками низачем. Разберу, сидя на коленях, да так, что ты перестанешь быть человеком и станешь всем вокруг, а от этого один шаг до того, чтобы стать ничем. И это все, что мне теперь от тебя нужно, — я замучалась учиться. Я, конечно, не скажу только самого важного, но ты же знаешь, что самое важное мне — неважные случайности, дыры в асфальте, молекулы (я надеюсь, ты сам слышишь это в моих неважных ответах, они — важные). Разберу и хлопну по всем столам стопкой бумаги. Тогда я приду домой, не включая свет и не раздеваясь лягу на кровать, накроюсь с головой и просплю ровно столько, сколько ты у меня отнял. А когда проснусь, куплю настоящие тетрадки и ручки и пойду правда учиться. Более сложного предмета у меня все равно больше не будет.

Вот так я тебя выгоню отсюда, на —

Литературоведческий анализ

Единство действия, времени и места:

ВСЕ, ЧТО БУДЕТ заканчивать мой курс, произойдет сегодня — этим предпраздничным для всех вечером (твоя, наверное, напекла пирожков и купила шампанского), я же свое отобедала и отпраздновала и теперь мне этот вечер нужен, чтобы тебя изо всех остальных вечеров вытошнило, а я легче стала. Действие будет происходить в ближайшие четыре часа, начиная с той минуты, когда ты решил отпустить нас пораньше в честь праздника, а я тебя честно возненавидела за то, что ты отнял драгоценные минуты, которые у меня как мелочь на счету. К концу действия я возненавижу тебя почти полностью,

но это я рассмотрю подробнее и далее. Так соединятся мое бесполезно потраченное время и отсутствие каких-либо действий с обеих сторон. Место действия для нас обоих будет традиционно единым, и в течение этих стыдных четырех часов мы не выйдем за пределы квадратного забора и учебного здания, хотя ни разу и не пересечемся ближе, чем моя лавочка и твоя сигарета далеко на крыльце. Единство времени и места позволит действию не совершится быстрее и продолжит ту приятную иллюзию, что ни у меня, ни у тебя нет своего дома, своей кровати и своей другой жизни: мы существуем только здесь, я на лавочке, ты на крыльце, ты с сигаретой, я с сигаретой. И это так здорово, что мы не существуем больше нигде, — мне кажется, мы бы не понравились друг другу по утрам, за завтраком, не на дистанции.

Композиция произведения:

КОМПОЗИЦИЯ происходившего ранее — рамочная. Неделя вкладывается в неделю, день в день, ты в лист, я в ноль. Все под стекло. На память. До лучшего. Композиция происходящего — кольцевая. Я окружена квадратом этого забора, я очерчена мелом и не выйду из заколдованного круга, пока меня не станет мутить от того, что я сижу и ничего не жду, ну то есть жду тебя. Низачем. Я начну сидеть около этого дома в четыре часа, растирая щеки руками, руки ладонями, наслаждаясь ознобом, стуча туфлями по асфальту, зубами по зубам, куря не взятяг, потому что надоело; плакать, потому что надоело, подруги будут сидеть рядом из чувства долга и курить взятяг, потому что им надоело; но у них есть чувство долга, они так воспитаны; мы будем пытаться периодически поговорить о чем-то честном, но получаться не будет, потому что я буду высматривать тебя, а я не умею быть честной и высматривать одновременно. Они будут хотеть уехать домой, поесть салата, но им будет не удобно об этом сказать, мы будем смеяться, что когда-то напивались, сигареты у нас кончатся и я буду отказываться сходить за ними под предлогом того, что у меня кружится голова и мне нужно посидеть на свежем воздухе. Мне нужно не пропустить тебя, чтобы закончить. Так что мы будем сидеть на все той же лавке, говорить по кругу и угадывать, курит проходящий мимо или нет. Потом выпьем кофе из пластиковых стаканчиков, и подруги, наконец, уйдут в извинениях. А я буду ждать, ждать, ждать, глупо ждать, когда ты просто выйдешь и уйдешь. К этой, к той, к женщине, мужчине — уже без

разницы. Я этим закончу в восемь часов, когда не дожусь. Круг замкнется, я перейду с кольцевой линии на радиальную и поеду домой.

Система образов:

С ТЕХ ПОР КАК влипла в эту твою науку, где не нужна голова, не по твоей вине, а по моей скуке, на тех парах, когда осознала, что влипла: тебя ладно для вечеров своих вылепила, с тех пор мухой стала. Мухой влетала в аудиторию после того, как на обеде мы опять праздновали какой-то повод, а я то и дело щелкала зажигалкой и поздравляла всех со мной праздных, а слова вокруг лавочки хлопучками лопались. И все рядом хлопали по плечам, щелкали моей зажигалкой, смеялись и говорили: «Ну наконец-то похороны отменила!» — и, конечно, не знали, что я все это время жмурилась, сгребала их оптически в одну кучу и репетировала, что так же буду улыбаться и хлопать словами, только поумнее, на уроке и тебе. Через десять минут. Я несусь поперек улицы, сигаретный дым в рот не попадает на лету, а я же лечу, но я не птица, потому что не поднимаю голову выше плеч, а птица летает в небесах, и я не бабочка, потому что платица ситцевые улыбаясь не одеваю и вообще почти не улыбаюсь, если только не сплю, и походка моя тяжелая — мама каждую неделю каблучки относит чинить; я — муха. Потому что тельце мое от неприкосновенности темное, крылышки как раз — вам не заметить, мне не взлететь. Челка на ветру разлеталась, ладонью прижимала и покрасневшая проскакивала в дверь, хотела сесть, но плюхалась на первый ряд. И пока штормило от праздника (молча в твою честь, между прочим), я все пялилась, пялилась в твои опущенные веки, у тебя, кстати, брови все в потолок галками стремятся, а брюки коротки слишком, а носки поэтому смешные. А... И так я пялилась и влипала все глубже, глубже, лезла на самое дно банки с вареньем, вареньем были твои слова, а я могла очень многому у них поучиться, если бы не кружилась голова, если бы я не искала в твоей речи самые сахарные цукаты, вырывала их из контекста, ставила на повтор, на максимальную громкость, в конце концов застревала, залипала, становилась мухой. Засыпала, злилась, что ты мой взгляд не ловишь, а когда ловил, сразу по сторонам смотрела, чтобы не сдать, но если уж врезалась, улыбалась совсем нагло: одним уголкем рта вверх, поднять брови, расширить глаза. И тут вдруг Вы улыбались своей некрасивой улыбкой, от этого мне хотелось смеяться и чтобы было не-

пременно видно, что весь рот у меня измазан в этом Вашем варенье и зубы от него красные, и вообще я же сказала, что стала теперь глупая — распробовала сладкое. Ты меня, наверное, понимаешь, зубы, наверное, от этого испортились. Спрашиваешь — что думаю о писателе Б.? А в ответ луплю глазами, как будто меня ночью застали с большой ложкой в руке, стоя на табуретке, лопаю конфеты из буфета. Потом произношу несколько красивых и бессмысленных слов, мычу, охаю, стыжу себя (уже молча) — сытая ты, глупая. А ты убираешь взгляд, оставляешь только серую муть глаз, порицающее вроде говоришь — «Ну понятно...», а взгляд отдаешь тем ученикам, которые могут сказать что-то внятное, потому что пришли вроде как учиться, а не так неприкрыто, как я.

Роль пейзажа:

МОЙ КАЛЕНДАРЬ — швами наружу, затяжками изнутри, колготками под джинсы и рукавами до колен, страницами блокнота в фиолетовом фломастере, пальцами в фиолетовом фломастере, в коже. По моему календарю пришла зима, и всем май, а мне мается. И вот эти победные праздники, солнце всех греет, а меня в отместку за нелюбовь запекает, в тесто рукавов заворачивает, я эти праздники, выходные, выходы в свет, на свет, ненавижу с тех пор, когда мне по расписанию пришлось начать вроде как любить. Потому что как я люблю — не подходя близко, не говоря ни слова, только запоминая случайные части, запирая их себе в грудь, — это не празднично. Я эти части с собой забираю домой, и все выходные сижу в мазуте и в них роюсь, а к концу праздников любовников своих разобранных уже ненавижу: зрение садится, спина горбится. Какая от меня, к черту, любовь. Вот и с тобой так же. Молодец, что не подходишь близко. Хорошо, что это профессиональная этика. Но вот сегодня я закончу с тобой, потом покончу с той собой, что была с тобой, и месяцев через пять придет мое лето. Жаль только, наверное, что на него больше не будет приходиться молодость. Моя, исключительно моя, потому что эта моя конфета, ты, которую отняли как раз, накануне, праздника, за чужое лето наверняка растает. Но сегодня похолодало, где-то плюс один, впрочем, у меня, как обычно, полный минус, и я сижу на этой шаткой скамейке, ноги уже околели, но я ни с места. Как только ты раньше отпустил, позже всех выбежала из класса, чтобы за тобой. Плащ надеть не успела, и, пока по лестнице бежала, все грудь рукой прикрывала — так дурно, так

стыдно, эта красная кофточка со слишком большим вырезом, совершенно неуместным — холодно, дешево. Прикрывала, к тебя подбежала: нужно хоть что-то сказать, мне надоело молчать по поводу и говорить без. «А можно у вас попросить сигарету?» — как я смешна в этой красной кофточке, с этой ладонью на груди. Только мне одной стыдно — ты веки даже не поднимаешь, молча пачку протягиваешь. Морщины слишком тяжелые? Я такая смешная? В такой кофточке для такого холода? Какое тебе дело до кофточек, с твоим неизменным неразличимым свитером в любую стужу. В любую жару в нем маешься — что скрываешь? Ты так похож на цаплю, когда я здороваюсь с тобой вдруг, но ты меня заметить не успеваешь; так смешно получается — сначала слышишь, что тебя зовут где-то внутри головы, одноглазо озираешься, меня выбираешь из пейзажа, и твои глаза из серых голубыми становятся — жара, небо отсвечивает лазурью. Ответить не успеваешь, потому что окурок выбрасываешь, лишь нелепо киваешь. И вокруг все кишит короткими рукавами, прищуренными глазами, волосами блестящими, криками, смехом. Сейчас же ничего. Я уже третий час на этой скамейке и почти привыкла к тому, что дрожу. Не могу привыкнуть только к тому, что сдрогнула с ума, сбредила — какой нормальный ученик попросится сдавать самый сложный экзамен досрочно? Я бы подняла руку, если бы не было так холодно. Начинаю иногда уже покидать этот идиотский дозор, пью кофе, кофе, чай, деньги кончаются, пью кипяток, чтобы согреться. Что я здесь делаю. Алло, мама, да я с девчонками гуляю, скоро буду. Господи, ну я же ничего не жду. Так холодно. Я жду ничего. Просто уйти после тебя. Вроде как ты остался в дураках, когда дура я. Не дожидаясь — доченька, ну где же ты? Еду, уже еду. Ладно, ты выиграл. Я ухожу первая. Не чувствую ног.

У метро меня останавливают и говорят — «девушка, у вас лицо грязное». Дураки, это просто первый снег моей наступившей зимы. Первый майский.

Семантика имен:

И ТЫ ВПЕРЕДИ всего полка, живым только ты остался, дальше — фотообоями Васнецова размножили. Нет, конечно, никакой бороды, никакой мускулатуры, доспехи шерстяные и джинсовые, булавой — большая советская энциклопедия, забралом — лицо сморщенное, непроницаемое, нулыбаемое, ты так строго на меня всегда смотришь — опять учишь? Знаешь, я к

экзамену этому вовсе не готова и билетов не учила, но ответ точно знаю на единственный билет — зачем ты мне нужен. Ты мне старость оправдываешь, мне раньше никто так не делал. Я раньше думала — вот бы дожить до тридцати, дальше — долгая смерть; я раньше над спящей мамой плакала и шептала себе, что дети должны умирать раньше родителей, потому что так я люблю ее, а она так устала; она мне брюки покупает и, кстати, ту дурацкую красную кофточку, вместо того, чтобы зубы себе вставить. Я раньше смотрела на папу и думала, что после сорока пяти мужчины мужествовать перестают и превращаются в «товарищей», «гражданинов» или, по крайней мере, дедушек. Я раньше решала, что так страшно взрослеть, что пятьдесят исполняется уже на том свете, а то и при выключенном вообще.

Мое имя переводится — «горькая». Я не ела сладкого до тебя. Я в семнадцать увлеклась горькими и крепкими напитками, потому что думала, что не доживу до тридцати. А потом ты появился. Учить стал. И тебе было уже далеко за, но ты был при свете и здесь в тысячу раз больше, чем я в свои двадцать. И с намеками на лысение, и с этими зубами твоими и морщинами, и каждый день в одинаковой одежде ты был в тысячу раз красивее, чем я, которая тратит каждое утро полтора часа на то, чтобы смотреть людям в глаза. Я восхитилась. Потом, как обычно, правда, замучалась. Зато стала маме бусы по утрам подбирать, а однажды даже сказала: «Да уезжай ты с ним на выходные, я и одна ничего, нормально». Я, может, даже вырасту. Мне, может, тоже будет далеко за.

Второстепенные персонажи:

ОТ ЭТИХ ТВОИХ писателей во второй степени не избавиться, они меня преследуют — не ты ли их натравливаешь («смотри, вот моя двоюродница, в красной кофточке»). Я все те месяцы, что тебя высматривала, точно знала, что по-хорошему быть не должно — никаких разговоров, никакого дыхания близко; я же карточную вавилонскую башню строила. Надо было с чего-то счерчивать — с тебя, для этого нужно было, чтобы ты на меня посмотрел, а я с детства приучена, что ко мне бегут, когда я плачу. И все никак не сходилось — то ты докуливаешь раньше, то я дойти не успеваю, то противно плакать нечестно. Сегодня то ли честно стало, то ли эти двадцать минут, которые ты от урока отрезал, стали мерзкими от того, что стали свободными. Честно отвечала всем, у кого брала сигареты:

— Ты спала или плакала?

— Плакала.

— Да ладно, все нормально будет.

— Естественно.

Выходили подруги — уходили друзья.

Да ладно, все нормально будет. Конечно.

Уже. Ну уходите вы все, уходите. У меня экзамен. Нет-нет, ну как же мы тебя оставим такой. Да оставьте же. Такой. Чтобы я его переварила, развела и завтра стала другой. Все уходите — единство места, времени и действия. Единство. Наедине, понимаете.

Он выходит опять курить, еще три часа таких впереди, когда у него редкие волосы глупо всклокочены, как у юнца, а рядом стоит толстая дама, и он перед ней наклоняется и ей улыбается, дает прикурить, а мне с опущенными веками пачку протянул (неужели я смешнее ее?). А я уже отплакала назло, как раз назло, когда его не было, уже сухо стало везде. Какая же я смешная — перед праздником победы почти рада своему поражению. Как окончанию. И тут совсем другой, совсем неуместный подходит:

— Ты чего плачешь?

Молчу.

На подруг:

— Она чего плачет?

— Хочется.

Мне:

— Случилось что-то? Или нервы?

— Нервы.

Улыбается как контрабандист накануне удачной сделки, оглядывается по-вороньи и показывает, что в кармане бутылка коньяка лежит. «Нервы...» — как же ты по-идиотски улыбаешься.

— Не буду.

— Ну и зря.

Бутылка больше чем наполовину пуста.

— Мне в шесть в издательство, роман сдавать! Печатать будут.

Глотнул.

— Что, такой хороший?

— Ну, его один у вас тут важный прочитал, вы ж сами знаете — если с улицы придете, никто печатать не будет. А звоночек сделать правильный — за неделю прочитают и напечатают.

— Только этот один и читал?

— Нет, еще жена.

— Ну если двое, то да, печатать. Третий, наверно, Бог.

— А ты на Мальвину похожа!

— У Мальвины волосы синие, а у меня нет.

— А у тебя глаза... такие!

А у меня под глазами от туши разводы полумесяцами, думала — уродина, хоть бы ты не

видел, а тут — Мальвина. Ну вот они, твои писатели. Замечательные все-таки. Как ты и говорил.

— А у меня жена — дура, а сын хороший. Он говорит — папу люблю, а маму убью! Я когда пьяный вдрызг прихожу, он говорит этой — «папе одиноко, я с ним спать буду, а ты иди!». А мне тридцать два года! Тридцать-два! Хороший сын?

— Хороший. Вам в издательство уже пора.

— А пошли коньяк пить?

— Не пойду.

— Ну ладно, Мальвина, не реви.

Уходит зигзагом. Ему тридцать два. Я поэтому думала, что до тридцати не доживу. А тут ты — статуэтка на самой верхней полке, и пыль как сусальное золото.

Экзамен

ВОТ МОЙ ПОЛНОЦЕННЫЙ анализ тебе. Тебя. Литературоведческий, как хотел. Завтра начнутся эти выходные, я положу рядом стопку книг и напишу тебе другой, ненастоящий, про современных писателей, со списком использованной литературы. А не списком использованной меня. Как ты хотел. Как я хотела. Плохо напишу, все слова уже на тебя израсходовала, ты уж не обессуди, вообще не суди — я сама осудила и отсудила свое.

Прихожу домой, говорю маме: мама, выпей со мной, я замерзла, я так устала — я сегодня диплом защитила. Чокнулась. Чокаемся рюмками. В дипломе написано: Литерадура. Но так славно было.